

НАТАЛЬЯ
НЕСТЕРОВА



ЖРЕБИЙ ПРАВЕДНЫХ
ГРЕШНИЦ



Издательство АСТ
Москва

УДК 821.161-31
ББК 84 (2Рос=Рус)6-44
Н56

Любое использование материала данной книги,
полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.

Серия «Лучшие книги российских писательниц»

Оформление переплета — *Александр Шпаков*

Нестерова, Наталья.
Н56 Жребий праведных грешниц : [семейная сага] / Наталья Нестерова. — Москва : Издательство АСТ, 2026. — 784 с. — (Лучшие книги российских писательниц).

ISBN 978-5-17-112019-1

Масштабное историческое повествование «Жребий праведных грешниц» — это рассказ о силе и слабости человеческой, о самопожертвовании и женской любви. Любовь встает как проклятие или благословение, разрывает связи с близкими людьми и уничтожает надежду на будущее, но помогает выстоять против жестокого врага, ибо дает любящей женщине колоссальную силу. Даже если люди становятся винтиками страшной системы, у каждого остается выбор: впустить в сердце ненависть, которая выжжет все вокруг, или открыть его любви, которая согреет близких и озарит их путь. Тончайшие нити человеческих судеб переплетаются, запутываются, рвутся, но в конечном итоге приобретают такую прочность, которую не смогло разорвать даже время.

УДК 821.161-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-112019-1

© Н. Нестерова, наследники, 2019
Все права защищены
© ООО «Издательство АСТ», 2026

Книга 1
Сибиряки

Российское могущество прирастать будет Сибирью.

М.В. Ломоносов (1763)

Сибиряки отличаются душевными особенностями: они умны, любознательны, предприимчивы.

Екатерина Великая

Сибирь совсем не Россия. Россия сама по себе, а Сибирь сама по себе.

*П.И. Небольсин, русский этнограф,
историк, экономист (1848)*

Россия, пожалуй, возродится Сибирью. У нас остаются дураки, а сюда едет сметка, способность.

*И.А. Шестаков,
Управляющий Морским министерством (1886)*

Боже мой, как богата Россия хорошими людьми! Если бы не холод, отнимающий у Сибири лето, и если бы не чиновники, развращающие крестьян и ссыльных, то Сибирь была бы и счастливейшей землей.

А.П. Чехов (1890)

...У них [у сибиряков] чрезвычайно, до болезненности, развито тщеславие и какая-то своеобразно-буржуазная и притом дурного тона практичность.

*Т.И. Тихонов,
корреспондент «Русского вестника» (1897)*

Назови мне такое место в мире, где в 25 раз больше людей, исполненных подлинного героизма, любви к свободе, образованных и умных! Такое место в мире — Сибирь!

*Марк Твен.
«Том Соьер за границей»*

Сибиряки — особый тип людей (преимущественно русских), обладающих сибирским характером: сильные, выносливые, трудолюбивые, гостеприимные, демократичные, добрые, щедрые, толерантные, с хорошими адаптационными способностями, любящие мороз и зиму. <...> Все русские сибиряки имеют более крупные размеры по сравнению с русскими европейской части страны.

Энциклопедия Сибири

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Омская область, 1923 год

Анфиса

Степан ужинал затемно. Домашние три часа назад встали из-за стола. Работники ушли отдыхать в свою каморку. В горенке находились мать с отцом, брат с женой да младшая сестренка. Степану прощались и опоздания, и неучастие в хозяйственных работах. Степан — власть, председатель сельсовета.

Хлебной корочкой Степан подобрал остатки еды в тарелке. Мать терпеть не могла эту его привычку босяцкую, приобретенную то ли когда со старателями в тайге промышлял, то ли когда служил в Красной армии. Степан поднял голову и застыл на секунду — будет мать его отчитывать или стерпит? Промолчала.

Прежде чем отправить хлеб в рот, Степан сказал:

— Сватов засылайте. Жениться буду.

Руки матери, Анфисы Ивановны, непроизвольно дернулись, но она не всплеснула ими, сложила на груди. Марфа, жена младшего брата Петра, уронила оловянную чашку, и та гулко покатилась в угол. Марфа давно, тихо, безответно любила Степана. Отец, Еремей Николаевич, отложил в сторону доску, на которую переводил рисунок оконного наличника. Петр дурашливо загоготал. Младшая сестренка, тринадцатилетняя Нюряня, подскочила к Степану, радостно смеясь, пристроилась сбоку, обхватила за талию. Нюрянин детский смех был чист и уместен, а гогот Петра нелеп и досадлив.

— У, халда! — прикрикнула Анфиса Ивановна на невестку. — Не ты наживала, не тебе колотить!

Оловянная чашка расколоться не могла, и свекровь ругала Марфу для порядку и для того, чтобы получить передышку, осмыслить нежданную радость. Только радость ли? Степану почти тридцать лет, и жениться мать его давно принуждала. Но у сына был один ответ:

— Еще погуляю.

— Погулялка сотрется, — злилась мать.

И подыскивала ему невест, одна другой краше и справней. Ту же Марфу взять — Степану предназначалась, да он наотрез воспротивился. За Петьку сосватали — грех был бы такую работающую девку упускать. Двух батра-

ков уволили, как Марфутка в дом пришла. А Степа, из старательской таежной артели вернувшись, в красноармейцы подался, Колчака бил, потом бунт крестьянский подавлял. Слава Господу, живой вернулся и без ранений. Опять-таки при власти оказался. Хотя пользы для семьи от его власти — как с воробья сала.

Ничего поделатъ с большаком — так у них старших сыновей называли — Анфиса не могла. Степан не Петька, который по родительской указке жил, а своего ума хватало только сопли подтереть. Степан — мужик самостоятельный, могутный и телом, и нравом, и словом. Его через колено не сломаешь, сам кого хочешь сломаёт.

— И кто ж тебе глянулся? — спросила мать. — Кому сватов засылать?

— К Прасковье Солдаткиной.

Анфиса Ивановна вспыхнула, точно ей нанесли страшное оскорбление. Рот открыла, а слова не шли, язык не слушался. Огляделась по сторонам в поисках поддержки: муж молчит, только нахмурился слегка, Марфа сгорбилась над тазом, посуду моет, лица не видать, Петька головой мотает — как бы осуждает, но и радуется одновременно, хочет посмотреть, как большаку на орехи достанется. Нюраня испуганно к брату прижалась, он ее по голове гладит, успокаивает.

— Еремей Николаевич! — хрипло потребовала от мужа вмешаться Анфиса Ивановна.

Он только плечами пожал, взял доску и продолжил наносить рисунок. Еремей не боялся криков жены, но не любил ее воплей. А громы метать по каждому поводу и без повода — под настроение — Анфиса была мастерица.

Вот и теперь она, голос обрета, разорялась:

— Спасибо, сыночек! Низкий поклон за большую честь! Порадовал! Перед людьми не стыдно! Ты кого в дом вознамерился привести, окаянный? Доходягу шклявую, ни кожи, ни рожи, гольтыбу распоследнюю...

— Мамаша! — предостерегающе поднял руку Степан.

— Что мамаша? Затем тебя мать в муках рожала, чтобы ты позорил ее перед обществом? Нашел невесту, на которую последний пропойца не позарится! Долго искал, сыночек. А то ехал бы сразу в Омск, там в богадельне убогих, да калеченых, да умом тронутых тысячи, промеж них получше Параськи нюхлой кого отыскал бы!

Степан еще раз погладил по голове сестренку, встал и направился к двери. У порога обернулся:

— От желанья сердца женюсь, а не по вашим буржуйским представлениям.

— Не смей мать похабными словами обзывать! — зашлась в крике Анфиса Ивановна. — Дубина стоеросовая! Окрутила его ушлая девка, хочет за наше богатство покорыстоваться...

Но сын ее уже не слушал. Хлопнул дверью, в сенях надел тулуп, натянул шапку и вышел на улицу.

Гнев Анфисы Ивановны занялся, как дрова в печи, разгорался в полную мощь, требовал выхода. Оглядевшись по сторонам, Анфиса Ивановна выбрала в жертвы Марфу, принялась обзывать ее и винить в грехах надуманных, несуществующих. Марфа покорно, свесив руки вдоль тела, опустил голову, стояла у печи, а потом вдруг простонала горько, прижала к лицу фартук и разразилась плачем, неприлично громким. Все застыли от неожиданности и удивления. Марфа уткнулась лбом в печную стенку и плакала навзрыд. Из-за чего? Если свекровь ругает невестку, за дело или без дела, — это нормально и привычно. Для того и свекровь, чтобы учить молодуху. Слезы невестки — тоже в обычае. Только невестка должна плакать тайно, схоронившись от чужих глаз, а вот так выть положено, только получив известие о покойнике, преставившемся родном человеке. Выплеснуть горе, а потом во второй раз на похоронах зайти в горестном плаче. А когда баба по каждому поводу мокроту разводит — это дурной характер и плохое воспитание, изнеженность. Потому что слезы — от себяжаления, а в крестьянском быту никому не нужна работница, которая своими обидами тешится.

— Ты чего? — растерялась Анфиса Ивановна. — Ополоумела?

— А ну цыть! — подал голос Еремей Николаевич и стукнул деревяшкой по лавке.

Было непонятно, кого он приструнивает — разбушевавшуюся жену или рыдающую невестку. Марфа бочком, по печной стенке скользнула в их с Петром комнату. Следом туда шмыгнула Нюряня. Петр удивленно пожимал плечами и при этом продолжал подготавливать. Все ему весело.

— У! Турка! — обругал Еремей Николаевич жену.

Значит, на нее осерчал. Сердце у Еремы доброе, хоть и ленивое. Ему тишь нужна, чтобы со своими деревяшками возиться, а посторонние или родные люди со своими горестями, да и с радостями, только докука.

Турками в селе звали род Анфисы Ивановны. Когда-то ее предок привез в тамбовскую деревню с войны жену-турчанку. Смуглая, чернявая, глаза как угольки, нос ключиком — чисто птица галка. Может, она по национальной и не турчанкой была, а бессарабкой или албанкой, или с арабских земель — кто ж знает. Но басурманка — точно. Крестили Аксиной, а звали все Туркой. Православной веры сердцем Турка не приняла, под сарафан штаны ситцевые поддевала, русской речи толком не усвоила, в церкви стояла, точно кол проглотила, деревянной рукой крестилась. Зимой мерзла до трясушки. Турке, конечно, приписали и дурной глаз, и колдовство-ведовство. Туркина корова молока давала по ведру в день, хотя Турка никогда положенных обрядов с буренкой-кормилицей не совершала. Или свои басурманские приговоры втайне шептала? Если у кого-нибудь скот хирел и подыхал, грешили на Турку как на ближайшего и очевидного виновника падежа. Неизвестно, как сложилась бы ее судьба — за гибель скота могли и жизни лишить, — но Турка умерла третьими родами, истекла кро-

вьями. На следующий день преставились и новорожденные близнецы. У крестьянок редко двойни бывали, а у Туркиных потомков с постоянством рождались и с таким же постоянством умирали, крестить не успевали. Это тоже был знак басурманской крови, по общему мнению. Первыми родами и у Анфисы двойня была — маленькие синюшные девочки размером с цыплят, суток не прожили.

В крестьянской среде не хуже, чем в дворянской, помнят, кто какого рода-племени, до пятого колена предков перечислят. Прапрадед был косым, у праправнука глаза правильно смотрят, а все равно Косым кличут. Пришлые же, вроде Турки, про которых ничего не ведомо, были обречены на подозрительность и недоброжелательство.

После Турки остались двое детей, мальчик и девочка, Анфисина бабка. Их тамбовская деревня была казенной, то есть крепостной, но царю принадлежащей. Прадед, Туркин муж, как отставной солдат получил вольную, и его потомство, соответственно, тоже. Это не добавляло любви к Туркам. Правда, вскоре, еще до общей отмены крепостного права, вольную получили все. В жаркий и ветреный июльский день деревня сгорела до последней сараюшки. Дикий пожар не пощадил пашню и лес. Правительство не бросило крестьян, а переселило на берега реки Иртыш.

О трехлетнем пути в холодную и страшную Сибирь Анфиса знала из рассказов бабушки Феклы. На тракте дежурные избы стояли только в казенных деревнях, где имелось Общество — местная сельская власть, которой вменялось кормить путников, но еда была скудной, и на всех не хватало. В помещичьих деревнях пропитание можно было получить лишь за работу или Христа ради. Бабушку — тогда ей семь или десять годков было — посылали побираться, она ходила просить кусочки, а брат Вовка отказывался нищенствовать, но отбирал у нее, не успевала донести мачехе, тятя и младшей сестренке, которая уже от второй, русской, жены родилась. Почему-то бабушке более всего запомнилось, как Вовка отнимал у нее скудное подаяние и самолично съедал его торопливо и жадно — точно щенок бродячей собаки.

Анфиса помнила деда Владимира: чернявый, как все Турки, худой, длинный — огробистый. Шуткуя, он сгребал в кучу малолетних внучат и внучатых племянников со словами: «Не улов, да на ушицу эти мальки сгодятся!» — поднимал их и делал вид, что хочет в котел бросить. Ему было уж за семьдесят, а в длиннющих костляво-жилистых руках сохранялась железная хватка. «Мальки» с криком вырывались, рассыпались по земле и неслись наутек. После смерти родителя, прадеда Анфисы, Владимир стал главой рода, взял на себя ответственность за всех потомков, следил, чтобы помогали друг другу, и сам работал истово до смертного часа. Однако бабушка Анфисы, как само собой разумеющееся принимавшая служение Владимира семье, нет-нет да и кривила рот: «Вовка-то, когда в Сибирь шли, сам не побирался, а у меня Христа ради кусочки поданные отбирал. И сжирал!»

Было это и осталось в туркинской породе: они признавали только те авторитеты, которые сами определили. И еще: в каждом человеке,

сколь бы ни было безупречным его поведение, находили изъян, слабость, чувствовали потаенность какого-то давнего греха и смотрели на всякого с характерным туркинским прищуром — я-то знаю, от меня не укроешься.

Сибирь оказалась не такой уж страшной. Летом жара была не слабее тамбовской, а зима хоть и наступала рано, но держалась крепко, без оттепелей и слякоти. Зимой часто светило яркое солнце, и в безветренную погоду деревня с заснеженными домами, лес с вековыми соснами и елями выглядели сказочно. А самое главное — земли в Сибири было сколько хочешь, сколько сумеешь поднять и обработать. Староста распорядился: «Бери от сосны до того места, где сорока летит». В России, на Тамбовщине, у многих и хлева-то не было, корову в избе доили, кур на крышу запускали кормиться соломой.

Крестьян определили на поселение в излучине Иртыша, на месте давно покинутого, вросшего в землю, обветшалого казачьего форпоста, названия которого никто не помнил. Деревенька же стала носить имя Погорелово. Версий происхождения названия насчитывалось три, потомки о них спорили, хотя на самом деле просто совпали несколько обстоятельств и каждая версия была правдивой. Во-первых, они были погорельцы. Во-вторых, расселились по горе, пусть и не высокой, густо заросшей лесом, и называлась она незамысловато — Гора. В-третьих, губернский чиновник Кузьма Митрофанович Погорелов сыграл столь значимую роль в судьбе тамбовцев, что увековечивание его памяти в названии — слабая плата за великие благодеяния.

Погорелов не был типичным царским столоначальником, то есть бездушным бюрократам, казнокрадом и кровососом. Он в чиновники попал из горных инженеров. Это совершенно особая каста отчаянных русских покорителей Урала и Сибири, бессребреники, которым хоть и полагалось потомственное дворянство, да мало кто им воспользовался. Семьями такие люди обзаводились редко, наследников не имели, надрывались в непосильном труде, усталость снимали известным способом — с помощью вина. Умирили, не перевалив и за сорок прожитых лет. У Погорелова не было правой руки, левой ноги и одного глаза. Вроде бы пострадал на аварии в шахте. Однако поговаривали, будто конечности ему отрубил и глаз выколол купец, с женой которого Погорелов путался. Но, если поразмыслить, купец-то совсем другую часть тела отсек бы греховоднику. Так или иначе, двадцатипятилетний чахоточный калека мириться с инвалидностью не хотел и на пенсию уходить не желал, добился, чтобы его пристроили на мелкую чиновничью должность в губернаторстве. И ему даже предоставили хлебное место — надзирать за переселенцами. Но благодетели сильно просчитались, понадеявшись получить со своего ставленника доход. Суматошный, крикливый, взрывной и заполошный Погорелов и не подумал набивать собственные и благодетельские карманы. Его главный «принцип»

был таков: «Всё по закону государеву!» То есть что переселенцам положено, то вынь да положь. Вице-губернатору делалось дурно, когда в его кабинет врвался одноногий, кривой, немый и дурно пахнувший, в мятом грязном мундире Погорелов и с ходу начал вопить про государевы указы, которые «всякая подлая вша под хвост себе норовит засунуть». Кузьма Митрофанович, отчаянный сквернослов, в присутствии начальства все-таки не матерился. Под единственной рукой у него был костыль, в пальцах — бумаги. Во гневе ему требовалось жестикулировать, тогда он зажимал бумаги зубами и размахивал костылем в воздухе. Бубнил при этом так, что речей было не понять, но становилось жутко. А еще случалось, его сотрясал неукротимый кашель. Потеряв равновесие, Погорелов падал на пол, корчился, прибегали коллежские асессоры, поднимали его, кровавая пена изо рта брызгала на документы... Вице-губернатор был согласен на все и даже на большее, только бы не видеть подобных представлений.

Кузьма Митрофанович с подопечными «томбашами» вовсе не церемонился и не относился к ним как добрая нянюшка к любимым дитятам. Самым ласковым его обращением было «холопы безмозглые». Насквозь больной калека, он стрелял единственным глазом вслед каждой красивой бабе. Преставился от чахотки, успев обеспечить переселенцам надежный старт. Для казны это была мелочь, для крестьян — жизненная потребность. Семенной материал, скот, инструменты, оборудование для кузни, мельницы — все это позволило им уже на пятый год выбраться из землянок и начать возводить крепкие дома.

В нескольких поколениях погореловские бабы вставляли имя Кузьма в поминальные записки об упокоении. Многие уж и не знали, кто такой этот Кузьма, но бабушка и мама велили поминать — знать, рай небесный этот человек заслужил.

Через десять лет от начала поселения в Погорелове возвели храм, и деревня стала селом — центром прихода. По любым меркам, это было очень скоро и говорило о том, что люди здесь обосновались всерьез и надолго, из тамбовских погорельцев они превратились в погореловцев-сибиряков.

Анфиса родилась в 1871 году, когда минули лихолетья поднятия целины и произошло расслоение на крепкие хозяйства, середнячков и голытьбу. Первичное расслоение происходило исключительно по деловым признакам. Работящие семьи со сметливыми хозяевами во главе рвали жилы и выбились в богачи; те же, кто не трудился на пределе возможностей или сметкой не обладал, по меркам среднерусской деревни были кулаками, а по сибирским стандартам — середнячками. Три коровы, пять лошадей — какое такое великое богатство? Лодыри и лишенцы — потерявшие кормильцев — составили низший слой, голытьбу. Последних было немного.

Анфисины детство и юность пришлись на время стремительного наращивания богатства, когда о тяжести первых сибирских лет остались только предания и каждый год приносил умножение достатка. Туркины считались одной из самых зажиточных семей в Погорелове, у отца Анфисы имелось

три сотни голов скота и тысячи пудов хлеба в амбарах. В туркинском потомстве, за редким исключением, вроде нежизнеспособных близнецов, были крепкие, здоровые дети. Вырастали могучими, что парни, что девки, широкими в кости, сильными и до работы злыми. Все, как по шаблону, с густым непролазным черным волосом, с темно-кариими глазами и носатые. У расплодившихся потомков фамилии были разные, но Турок угадать можно было безошибочно. Басурманская кровь, смешавшись со славянской, давала устойчивые признаки, поглощая и растворяя новые вливания.

Всем женщинам-Туркам приписывали способности к ведовству, хотя ни одна из них ведовством никогда не занималась. Анфиса не была исключением. Она знала о лечебных травах не больше, чем любая другая деревенская женщина, приговоров-заговоров не сотворяла. Но при случае могла припугнуть враждующую соседку:

— Гляди, Манька! Плюну на твою корову!

И шла Манька на попятную, боясь, что останется корова яловой, то есть не беременной, корми ее задаром, или ногу подломит, или, хуже того, подхватит болезнь дурную, весь домашний скот перезаразит, в общее стадо их не допустят. С Фиской-Туркой лучше не связываться.

Однако славы бабы сглазливой Анфиса ой как не желала. Поэтому вела себя хитро. Сглаз, он же порча, как известно, — это похвала. Похвалила сглазливая баба ребятенка — он орет ночи напролет. Доброе слово девке сказала — у той ячмень на глазу вскочил. Анфиса не раз намекала, а то и прямо заявляла, что в ее воле сглазить, а захочет — полдня хвалить будет на большую пользу в дальнейшем.

Анфисе нравилась власть над людьми, льстило, когда ее боялись, то есть уважали. Но было нечто, чего страшилась сама Анфиса. Она обладала необъяснимым даром предчувствовать смерть или выздоровление больного человека. Посмотрит на хворого, рукой его погладит, и внутри голос зазвучит: «Не жилец!» или «Выкарабкается!». Это был даже не голос, а какое-то понятие, вдруг вспыхнувшее знание. Анфиса никому про свои прозрения не рассказывала, но все и так знали, что она кончину или исцеление видит. В селе такие способности не утаишь. Лечить Анфиса не любила. Все эти травки-муравки, притирки-растирки требовали кропотливости и внимательности. Анфиса же была масштабной натурой, с размахом. Большим хозяйством руководить — это для нее, тем паче что муж большей частью на отхожем промысле пребывает.

К Анфисе Ивановне обращались за помощью в безвыходном положении. Болеет взрослый или ребенок, а на дворе межпогодье: река не стала, зимнего пути нет, на дороге грязь по колено — не то что до земского врача в сорока верстах не доберешься, в соседнюю деревню к знахарке не доползти. И бежали к Анфисе, в ноги падали, умоляли. Она шла, хмурая и злая, потому что страшилась собственного дара, особенно если внутреннее знание плохой приговор вынесет. Суеверно боялась, что умирающий ее саму на тот свет утянет, как в воронку засосет. Она входила в дом, прибли-

жалась к беспамятному больному, брала его за руку, и если внутри вспыхивало: «Не жилец!» — тотчас уходила, бросив на прощанье:

— На все Божья воля.

Если же она чувствовала, что хворь отступит и человек поправится, мгновенно становилась добрее и мягче. Приступала к «лечению» — брызгала святой водой и читала молитвы, иных способов врачевания она не знала. Но что хорошо понимала — родных нужно занять, чтобы бежали, суетились, хлопотали, бездействие для них хуже пытки. А поскольку все известные приметы еще до прихода Анфисы были уже истолкованы, обряды выполнены, народные средства применены, Анфиса выдумывала новые. Она хорошо разбиралась в человеческой природе и была не лишена своеобразного чувства юмора, если и имевшего отношение к смеху, то к недоброму, отчасти издевательскому.

Одной матери достаточно было сказать:

— Перебери овес, из самых крупных зерен кисель свари, по ложке дитятку давай. Только смотри, самые крупные зерна! Из мелких не поможет.

И сидела мать, мешок за мешком овес перебирала. Успокаивалась, верила — Анфиса ведь никогда не ошибается. Вон у Федора Лапотника спину колесом скрутило, ни сесть, ни встать не мог, на крик кричал от боли. Так Анфиса сказала, что ему надо душегрейку из собачьей шерсти связать и чтоб обязательно от дюжины собак шерсть была. Жена и дети Федора по всем дворам носились, кобелей вычесывали. Помогло!

К обычаям и обрядам в крестьянской среде относились как к непреложным законам, смысла которых понимать не требовалось, а исполнять следовало неукоснительно. И все-таки некоторые обычаи-ритуалы, привезенные из Центральной России, в Сибири упрощались, скукоживались.

Перед первым весенним выгоном скота тамбовская крестьянка поутру священнодействовала в хлеву с вербными веточками, сохраненными с Вербного воскресенья. Бабушка Анфисы, простоволосая, босая, в нижней рубахе, закончив обряды в хлеву, выходила во двор, оседлывала палку и скакала на ней кругами. Потери единственной коровы-кормилицы или коня боялись больше чумы. Про чуму только слыхали, а голод всегда стоял на пороге. Но в Сибири скота было много. На дальних пастбищах у Анфисы более ста голов кормилось. До революции, конечно. Простоволосой по двору она не скакала, но в день первого выгона вместе с другими бабами приносила подарки лесным хозяевам. Шли в лесок за пастбищем, выбирали деревце, клали под него хлеб, сахар, завернутые в тряпицу, и приговаривали: «Вот вам гостинец, примите мою коровушку, напоите, накормите и вечером домой отправьте». Обратное в деревню следовало идти вприпрыжку, как бы изображая скачущее животное. К сорока годам Анфиса располнела, и рысью передвигаться ей было тяжело. Подскакивая, мысленно бранясь, думала: «Не иначе как эту иноходь придумала пересмешница вроде меня».

Приезжие удивлялись, что в Погорелове псины не кудлатые, а гладко расчесанные, точно девки молодые, которые с непокрытой головой бегают. А это по Анфисинуму «рецепту» бабы впрок собачью шерсть заготавливали и между собой обменивались, чтобы набрать от многих кобелей. Крестьянская работа тяжела, спины надрываются — без надежного лечения не обойтись. И никто не останавливало то, что сибиряки вслед за староверами прежде считали собаку грязным животным и шерстью ее «морговали» (брезговали).

С молодости Анфиса была грубоватой, неуклюжей, отчасти мужеподобной. Не певунья, и танцевала, как солому в глину утаптывала. Лицо красивое, но будто из твердого дерева вырезанное — прочно и навеки. Сказок, былин и быличек она не знала да и не любила, как не любила все непонятное, вроде нравоучительных притч — их мораль казалась Анфисе столь примитивной, что закрадывалась мысль, будто от ее понимания ускользнуло что-то важное. Словом, это была натура не поэтическая, женщина, твердо стоящая на земле. Единственной ее уступкой непонятному и недоступному — другому взгляду на мир — стал муж Еремей.

Еремей

Отец Еремея Медведева был из чалдонов — коренных сибиряков, чьи предки поселились за Уралом еще до похода Ермака. Как и отец, промышлявший охотой и рыбалкой, Еремей не жаловал крестьянского труда. Мать происходила из состоятельной семьи тамбовских переселенцев, но была хроменькой — в детстве упала, сломала ногу, кость срослась криво, и без палки мать не передвигалась. Незавидную невесту сосватали за чалдона — спасибо, что взял. Богатое приданое быстро проели, зверья и рыбы — добычи отца — хватало свести концы с концами. Подросткового Ерему мать загоняла на крестьянские работы палкой — била своей клюкой. Кроме Еремы-большака у матери еще трое по лавкам сидели, мал мала меньше. Ереме было восемь лет, когда отец не вернулся с охоты. «Медведь в лесу задрал», — так говорили о пропавших в тайге. Заботу о семье, потерявшей кормильца, взяли на себя дед с бабкой, мамы родители. Жизнь стали лучше, сытнее, но подневольно. Их не попрекали куском хлеба или обновками, хотя всегда давали понять — из милости живут. Это шло не от душевной черствости или жадности. Крестьянские дети должны с пеленок знать: всякий достаток и богатство приходят благодаря тяжелой работе. А если ты к работе ленив или сирота, то получаешь из милости. За милость надо быть благодарным. Неблагодарный человек хуже колодника. Ссылным каторжникам, которых гнали через село, оставляли за заборами еду и старую одежду. Те дрались за эту христианскую милостыню и никогда не благодарили.

Смышленный Ерема быстро научился читать и складывал в уме большие числа, умилял богомольную бабку тем, что мог за вечер выучить длиннющий

псалом. Но работы, на которые привлекали детей (гусей пригнать, дрова сложить, воды скоту наносить), выполнял из-под материнской палки, норовил улизнуть. Сбежит в лес, найдет корягу, лишнее уберет, отполирует, и глядь — получился старичок с котомкой. Угольком на доске почиркает — вылитый петушок зарю горланит. Все эти таланты в предстоящей Еремею жизни (мать инвалидка и трое младших братьев-сестер, которых придется содержать, дед-то с бабкой не вечны) были бесполезны. Однако дед уступил просьбам десятилетнего внука и отпустил его учеником в плотницкую артель. За это мудрое решение Ерема навсегда остался благодарен деду. Больше, чем за хлеб-соль для сиротинушек.

Первые годы в артели были тяжелы. Сибирское лето коротко — чтобы с подрядами справиться, трудиться надо от утренних сумерек до вечерних, на сон пять часов приходится, не больше. Мужики в артели не мать родная. Та хоть и кричит, но любя, и палкой лупит понарошку, не больно. А мастер или любой из плотников-столяров за малейшую задержку двинет по башке — на три метра улетишь. Покалечить не покалечат, но весь в синяках будешь. Ничему Еремею специально не учили, азов не объясняли. Умный — сам скумекает. Глупый — так и останется на «дай-принеси». В артели те парни, что на побегушках, особо придирчивы и дерутся больно. Ерема был умный и упрямый, главное — рукастый. Мастер это заметил, около себя ставил, запретил уж очень сильно и часто ученика пинками воспитывать. С тринадцати лет Ерема помогал резчику по дереву, потому что без лекал помнил узор наличников. В пятнадцать ему вздумалось сочинять свои мотивы, за что он был сначала жестоко порот — «не тебе, сопляку, вековечное мастерство поганить», — а потом мастер его придумки ловко вплел в свою работу. Заказчикам ведь всегда хочется противоположного: и чтоб как у людей, и чтоб лучше.

Кроме дерева, породы которого, их плоть и душу чувствовал тонко, Еремей любил всяческие механизмы. Его завораживало устройство часов, швейных машин, не говоря уж о сеялках и валяльных станках. Он подсмотрел в одной деревне у переселенцев-хохлов устройство ткацкого станка, позволявшего ткать полотно тонкой и прочной выделки, зимой сделал такой же матери. Она вначале руками махала — не хочу, не буду, глупости все это! За станок села и учиться принялась от стыда: кто в дом зайдет, увидит сына-большака за станком — засмеет. Потом десятки раз вслух и мысленно благодарила Еремею, когда за ее полотном очередь выстроилась. При ее хромоте сидячая работа была спасительным облегчением. Бабы-соседки с поклоном приходили: не построит ли для них Ерема такой же станок? Опять-таки уважение, редкое по ее вдовому состоянию.

Ерема еще два станка сделал, а потом охладел:

— Пусть сами мастерят, образец перед глазами.

Это он про деревенских мужиков говорил. И никакие посулы, привлекательные цены не могли заставить Еремею переменить решение. Если он к чему-то терял интерес, то необратимо. Снова вернуться к пройденному

соглашался, только когда это пройденное можно было изменить кардинально, неожиданно.

Во время зимнего домашнего пребывания его часто звали чинить маслобойку, или молотильную машину, или амбарный замок, приносили запаять сломавшиеся сережки или треснувший оклад иконы. В Еремее признавали умельца, но никто не видел в нем выдающейся личности. У Еремы Медведева был серьезный недостаток — оторванность от земли, с малолетства пребывание на отхожем промысле. Кроме того, в селе любой справный мужик — на все руки мастер. Иными словами, каждый все умеет, но что-то умеет лучше других. Игнат в конской сбруе сметлив — подлатает, новую покупать не надо. Петр зимние сани, которые набок заваливаются, в одном месте подстрогает, в другом подобьет — птицей летят по снегу. Зинку приглашают, когда для особых гостей караваи пекут, у нее на опару рука легкая, а у Татьяны — на посадку рассады овощей. Мать Анфисы могла точно предсказать, околеет заболевшая скотина или выздоровеет, забивать или погодить. Анфиса потом с людьми то же самое умела, но и ту и другую просить — наплачешься, только в крайности придут.

Летом 1888 года Еремей находился дома, потому что ранил руку и она загноилась. Из артели не пустили бы — и с одной рукой найдется занятие, но тут бабушка преставилась. Дед, за которым никогда не замечали особой любви к жене, вдруг лицом перекосясь, и нога у него отнялась. Стал точно ребенок плаксивый, все искал и звал бабушку. Шкандыбал с клюкой на пару с матерью, у которой опухли и сильно болели суставы. Дядья и тетки Еремы уже присматривались-примеривались к разделу родительского наследства. Мать написала слезное письмо Еремее, а следом его мастеру: пусть сыночек приезжает, без большака ее семейству, деткам-сироткам полная погибель. Ерему пустили.

Сушь в то лето стояла небывалая, дождей с начала мая не было. На заливных лугах обычно к первому покосу сочная трава выше колена поднималась, ей хватало влаги в напитавшейся водой земле. Но солнце, палившее как перед концом света, сожгло зеленя. Первого покоса не случилось, во второй обязательно нужно было убрать и сохранить чахлую траву, иначе скот погибнет. Стало ясно, что потребуются перестроить привычный календарь работ, что, как только ляжет первый снег и скот уйдет с подножного корма, начнется массовый убой. Нужно было рассчитать количество корма на число скота, который следует оставить, выбрать из него самый продуктивный, договориться с купцами заранее о цене на убой, продать прошлогодние излишки зерна по выгодной цене, потому что в России тоже засуха, оставить семенной фонд и запас, а сбывать его уже по небывалой цене ранней весной.

В любые времена есть малое число удачников, которые после кризиса становятся богаче, и большое число неудачников, которые становятся беднее. Зависит от умения думать, считать, сообщать.